

И Бог наделил вас плавниками и позволил вам свободно передвигаться.

Св. Антоний Падуанский. Проповедь рыбам

Трогает жизнь, везде достает.

Гончаров И. А. Обломов

ТАМ, В ГЛУБИНЕ

— Мама, у Артура снова режутся зубы. Треугольные пираньевые зубы.

Мама с силой сжимает руку Луиса, тянет за собой сквозь пыльную горячую улицу.

— Перестань, Луис, хватит. Никакого Артура нет.

— Он есть. Он там, в глубине меня.

— Тебе это кажется.

— Мне не кажется, он правда есть. Вокруг него темно, и он ничего не видит. Но он может выбраться наружу. Он постоянно пытается выбраться.

Мама замедляет шаг. Тяжело вздыхает, щурясь от воспаленного предвечернего солнца.

— Боже мой, когда это прекратится! Слушай, сейчас, у доны Элизы, сиди тихо. И не смей говорить про Артура, не позорь меня, ты понял?!

Луис кивает и дальше идет молча. Он слышит в своей внутренней темноте тихие всплески воды и втягивает голову в плечи.

У доны Элизы старый дом, наполненный густым сонным воздухом. Из глубины коридора играет радио; тяжело и знойно жужжат мухи. На пороге кухни неподвижно лежат две собаки, будто придавленные жарой.

Сама дона Элиза высокая, сухая и как будто немного погнутая влево. Чем-то похожая на горелую спичку. А глаза кофейные, теплые.

— Детка, хочешь поиграть с ребятами, пока мы с твоей мамой разговариваем? — ласково говорит она и показывает в сторону двора. — Там мои внуки и их друзья.

Луис смотрит в открытое окно и видит резвящихся детей. Идти к ним совсем не хочется. Луис уже почти год не играет с другими детьми. Почти год назад соседские ребята столкнули его с причала. Прежде чем уйти под воду, Луис налетел зубами на ржавый бок опрокинутой лодки. Затем долго барахтался в буровой вязкой толще, и зубы один за другим выплывали изо рта, вытягивая за собой длинные кроваво-красные ленты. Ребята все это время стояли на причале и смеялись. Тогда внутри Луиса и появился Артур. Артур — это почти такой же мальчик, как Луис. Только зубы у него как у пирании. Артур сидит очень глубоко, но иногда хочет выплыть на поверхность и впиться зубами поочередно во всех, кто его окружает. Вырвать по кусочкам мясо, раскусить жилы и кости. Но Луис его удерживает — в слепой глубине себя, в темноте своей головы. Артур ничего не видит, только бессмысленно дергается и сжимает челюстями пустоту.

— Давай, Луис, иди, не мешай! — сердито говорит мама. — Нам с доной Элизой нужно обсудить дела.

Луис снова вжимает голову в плечи и послушно идет во двор.

Наверху все сильнее взбухает предвечернее солнце. Льется с неба раскаленно-липкими лучами.

Ребята, замерев, оборачиваются, с любопытством смотрят на пришедшего незнакомца. Назад дороги нет, приходится представиться:

— Я Луис... Я пришел с мамой к доне Элизе.

Луису не по себе. Ему хочется провалиться сквозь пыльную растрескавшуюся землю. Сердце отчаянно стучит в груди тяжелой мягкой кувалдой. Но ребята оказываются дружелюбными — не то что соседские. Не обзывают, не усмежаются в ответ, не смотрят презрительно. И сразу берут его в игру.

— Иди к нам, Луис! — говорит веснушчатый толстый мальчик. — Я внук доны Элизы, Жоакин. А вот Ана, моя сестра, вот Карлос, Жулия, Матеус, Лаура.

И Луис идет, вливается в игру, в густой жизнерадостный гул. В этом гуле он словно плывет на маленькой лодке, беззаботно кружится по непроницаемой водной глади. Шум обволакивает его мягким ласковым коконом, в котором он чувствует себя защищенным от затаившейся неизвестности. От невнятной напряженной реальности, неизменно поджидающей его в тишине. Смятение как будто немного отступает.

Впрочем, ненадолго.

— *Море волнуется раз,* — считает кто-то из ребят. — *Море волнуется два.*

Но Луису представляется не море, а мутная кофейно-бурая река.

— Луис, у тебя глаза красные, — вдруг говорит маленькая Ана, внучка доны Элизы. — Может, песок попал?

Луис трет глаза, но песка не чувствует. А мысленная лодка внезапно как будто начинает раскачиваться, грозясь выкинуть Луиса в воду. Внутри головы снова появляются шевеления Артура. Страх всплескивается вязкой волной, обволакивает нутро холодными скользкими водорослями. Луис старается улыбаться, смотреть на веселые лица вокруг. Столкнуть Артура обратно в слепую глубину.

После «моря» играют в жмурки. Луису завязывают глаза, и от него все со смехом разбегаются. Ему довольно быстро удастся кого-то отловить: теперь главное — опознать пойманного на ощупь. Это несложно. Хрупкая ключица, мелкие воздушные кудряшки, персиковая мягкость щеки. И горячее карамельное дыхание с затаенным смехом. Это маленькая Ана.

— Угадал! Давай еще раз.

Луис вновь кого-то ловит. Еще быстрее, чем в первый раз. Он медленно проводит рукой по лицу пойманного и в ошеломлении замирает. Прямо под сердцем ныряет тяжелый горячий ужас. Выныривает в легкие, снова устремляется куда-то в подсердечную зону и откатывается дальше, в глубину тела. Луис узнает на ощупь собственные черты. Собственный покатый лоб, косой выпуклый шрам на левой брови, заостренный кончик носа. Он ощущает даже знакомый кисло-соленый запах кровяной корочки на плече.

Но нет. Рот не его. Выступающая нижняя челюсть, частокол клиновидных острых зубов. Улыбка не его. Это даже не улыбка, нет, а ледяной пираниевый оскал.

— Луис, нам пора! — слышится мамин голос, и пойманный мальчик тут же ускользает из-под его ладони.

— Пока, Луис! — говорят вокруг. — Приходи еще!

Луис судорожно срывает повязку, но по-прежнему ничего не видит: глаза тонут в абсолютной темноте.

— Луис?

Проходит пара секунд, и в эту темноту остро врезаются крики. Смешиваются с оглушительно сочным хрустом и влажным чавканьем где-то совсем рядом. Невыносимо близко. Луис ничего не может сделать. Он бессмысленно вертится, вытягивает руки, все больше проваливаясь в чужую слепую глубину.

1

ДИАГНОЗ

Больничная тишина неподвижная и тугая. Только справа, в двух метрах от Веры, изредка капает сломанный кран. Словно выдавливает из себя скупые больничные слезы. Слитые воедино остатки общей, совокупной боли. Основная боль уже как будто вся вытекла, осталось совсем чуть-чуть, последние капли. Больничные слезы гулко ударяются о дно раковины и исчезают в никуда.

Вера лежит на боку, вглядываясь в ночь за окном, в знакомые очертания спящей стеклобетонной плоти, обступившей больничный двор. Слева неврологический корпус, справа — административно-хозяйственный. А чуть дальше морг, но его не видно. Вера чувствует себя изможденным, расхлябанным куском материи, нелепой конструкцией в совершенно не рабочем состоянии. Возможно, даже набором отдельных, уже не скрепленных друг с другом деталей. Небрежно разобранным человеческим механизмом. *Надо бы хоть немного подремать*, устало думает она и закрывает глаза. Но подремать не получается. Темное больничное пространство тут же подползает под пульсиру-

ющие Верины веки. Тревожный полусекундный образ затопленных Амазонкой тропиков где-то на подступах ко сну, и, дернувшись всем телом, Вера снова выныривает на поверхность сознания. И снова больничные стены, снова густо-черное ночное небо за окном и неподвижные вечные корпуса. Дежурство, затишье, капающий кран.

Пора завязывать с буфетным кофе. Да и вообще с такой жизнью. Со всем этим. С больницей. Должна же она когда-нибудь меня отпустить. Вот только уходить от нее некуда — разве что прямоком в ту самую мутную воду.

Борьба с неумолимым ежеминутным пробуждением длится мучительно долго. И каждый раз, всплывая из вод Амазонки, Вера вздрагивает на своей жесткой кушетке, словно пойманная рыба на дне лодки. Жадно хватая ртом больничный воздух. Зачем-то подносит руки к горлу — резко, почти что с рефлекторной быстротой. Словно ожидая нащупать окровавленные жабры. И обнаруживает каждый раз вспотевшую тонкую шею с прилипшими прядями волос.

Лишь к рассвету Вера наконец погружается в сон — тяжелый и затхлый, как несвежее полотенце. Ей в тысячный раз снится, что она в Манаусе, как будто ради какой-то урологической конференции.

Вере во сне нестерпимо жарко. От плотного банного воздуха, пропитанного мясным душиком, внутри как будто что-то расклеивается, распадается на части.

Из ресторанной террасы тянется запах жареной пиканьи, смешивается с запахом сгнившего где-то на жаре мусора. В нескольких метрах, у входа во внутреннее помещение ресторана, стоят Игорь Николаевич,

главврач Веринной больницы, Константин Валерьевич, заведением, и еще какие-то врачи, которых Вера однажды видела в Москве, на конгрессе Российского общества урологов (единственном, который она посетила). Все они слегка слоятся в раскаленном мареве. То и дело открывают дверь, оценивая разглядывая ресторанные нутро. Так продолжается до тех пор, пока к ним не выходит очень полная женщина, вся усыпанная крупными, похожими на раздавленные хлебные комочки веснушками, и не хлопает дверью у них перед носом. Все-таки внутри работает кондиционер, и прохлада не должна зря утекать из помещения.

— Тут сауна, а там дубак, — говорит Константин Валерьевич. — И что делать?

Внезапно Вера вглядывается сквозь ресторанные окно. Туда, где сидят посетители. И где среди посетителей сидит *он*. Вера чувствует, как ее обдает новой, очень густой волной жара. Мясного клейковатого пекла. И тут же понимает, что этот липкий алый жар исходит вовсе не от террасы, а изнутри, из собственной тревожно стучащей сердцевины.

С *того самого случая* прошло семнадцать лет, и теперь *ему*, наверное, тридцать с лишним. Как и Вере. Но лицо так и осталось каким-то детским. *Он* чем-то похож на пухлявого мультяшного ангелочка — из тех, что обычно изображают на открытках. Все те же пшеничные волосы. Те же молочно-голубые, чуть воспаленные глаза. Вера отчетливо видит их даже на расстоянии нескольких метров. Вот *он* кому-то улыбается — видимо, сидящей напротив женщине с малиновыми прядями. И улыбка та же — лучистая, простодушная.

«Не может быть, — с изумлением думает Вера. — Он все-таки выжил. Причем ни одного шрама. Но так

бывает. Видимо, лицо тогда не пострадало. Ведь такое возможно? Возможно всякое».

В чудесных возможностях медицины Вера уже давно сомневается. Но вот в простые, не медицинские чудеса по-прежнему верит. Хочет верить.

— Вера, пойдете дальше, нам тут не рады! — возникает голос Константина Валерьевича.

— Сейчас, — отвечает Вера, машинально поднося ладонь к груди. К горячему, сально разбухающему сердцу.

— Не переживайте вы так, — говорит Игорь Николаевич словно с другого берега темной реки.

В следующем моменте сна Вера и правда видит себя на темной реке. Точнее, среди затопленного тропического леса, в окружении непроницаемых древесно-лиственных стен. Все то время, что оказалось между этими моментами, словно потонуло в раскаленном липком тумане.

Главврач и завотделением сидят тут же, в лодке. Нанизывают кусочки сырого куриного филе на рыболовные крючки, перешучиваются с гидом, смуглым поджарым парнем, который очень похож на Эдика — медбрата, умершего пару лет назад от цирроза печени.

Вера все еще как будто истекает внутренним соляным жаром и не принимает участия ни в беседе, ни в рыбалке. Ей хочется неотрывно смотреть на сумрачную, затаившуюся в себе воду. «Значит, вот почему я *его* больше ни разу не видела, — говорит она себе. — Вовсе не потому, что *он* погиб. Просто *он* тогда уехал. Далеко уехал. Вот и все объяснение».

Но что-то никак не складывается до конца в голове.словно какая-то часть Веры тихонько подсказывает, что это все не наяву, не по-настоящему.

Игорь Николаевич и Константин Валерьевич выдергивают из водной мути пираний почти одновременно, под энергичные аплодисменты гида. Две маленькие зубастые рыбешки шлепаются на дно лодки и принимают отчаянно трепыхаться. Категорически отказываются верить, что пришел конец. Вера вздрагивает и устремляет на пираний тревожный сосредоточенный взгляд. Слово все видимое пространство уплотняется, концентрируется вокруг этих несчастных рыбешек.

— Но ведь... они белого цвета? Почему они белые? Они разве должны быть такими?

Все трое резко поворачиваются к Вере. Она повторяет свой вопрос и выжидательно, почти умоляюще смотрит на гида. Тот что-то растерянно и неуклюже шутит про рыбий расизм.

— Вера, это вы белого цвета...— обеспокоенно щурится главврач.

— Ага,— соглашается Константин Валерьевич.— Вы очень бледная. Я бы даже сказал белая, словно снежком припорошенная. Вы вообще нормально себя чувствуете?

Вере кажется, будто язык и горло постепенно покрываются сухой шершавой коркой. Надо что-то ответить. Успокоить их. Не портить рыбалку. Надо забыть на время про *него*.

С большим трудом она сглатывает вязкий комочек слюны. И медленно выдыхает.

— Да, со мной все нормально. Просто, может, отпустим их? Пока не поздно.

Телефонный звонок резко выдергивает Веру из сна, затягивает обратно в больничную реальность. Корпуса за окном еще спят, но фонарный неживой свет

уже разбавлен живым, предутренным. Небесная темнота начинает таять, сквозь нее уже прорастает нечто рассветно-сукровичное. Назревает еще один большой день.

— Слушаю.

— Вера Валентиновна, тут индивидуума принесло самотеком, двадцать восемь лет, — раздается в телефоне голос Любы из регистратуры. Трескучий и бодрый, как у тамады. Даже в такой час.

Вере по-прежнему невыносимо жарко, правда, теперь уже не от густого тропического зноя, а от колючего пледа, который она зачем-то натянула во сне до самого подбородка.

— Хорошо, сейчас буду.

— Там у него, говорит, увеличение левой половины мошонки, болезненность, все такое, температура тридцать восемь и семь. Причем, говорит, уже два дня назад заболел, но вот только сейчас, видите ли, решил...

— Разберемся, пусть поднимается.

Вера нажимает отбой. Она всегда старается свести разговор с Любой к минимуму. А сейчас это просто необходимо, иначе боль в черепе от дурного сна станет совсем невыносимой.

Новый большой день, мысленно повторяет Вера, откидывая плед и сбрасывая босые ноги на холодный линолеумный пол.

Коридорный свет больно бьет по глазам. Ярко-желтый, густой, бесперебойно льющийся с потолка днем и ночью и оттого словно перекипевший. Воздух почти как в Манаусе — душный и липкий, только еще насквозь пропитанный лекарствами и чужой безысходностью.

Нужно спуститься на третий этаж. Проплывая сквозь ярко освещенные коридоры, Вера каждый раз неизбежно думает о тех, кто сейчас по ту сторону дверей. Машинально, по привычке. По секунде о каждом. Мысль затекает под дверь и тут же уносится дальше.

Вот здесь Геннадий Яковлевич, семьдесят девять лет. Ему сегодня удалили опухоль лоханки правой почки. До семидесяти пяти он проработал учителем алгебры и геометрии в средней школе. Вера представляет, как он говорил на уроках. Мягко и бархатисто, никогда не пытаюсь перекричать несмолкаемый гул класса. После каждого урока аккуратно складывал в стопочку тетради с мемами на обложках, а на большой перемене заваривал чай в синей кружке с отколотым краем и надписью «Любимому мужу». Или «Дорогому Геночке». А потом его вежливо попросили уйти на заслуженную пенсию, и он ушел. Скрепя сердце, но ушел. По субботам он ходил с женой Кирой на концерты в ДК на Ленинской улице. Только ради Киры: Геннадий Яковлевич не любил *всякую самодеятельность*. По воскресеньям отправлялись за покупками. В супермаркет «Заря», на углу, рядом с бывшей прачечной. Геннадий Яковлевич посмеивался над привычкой жены Киры покупать продукты только *по скидочке*, даже если не нужно, даже если срок годности истекает. Потом жена Кира внезапно умерла от инсульта, а он все равно зачем-то продолжал ходить в ДК один. И сам, незаметно для себя, стал покупать все только по желтым ценникам: и пластилиновые сыры, и водянистые кислые помидоры, и отливающую влажным жиром серую колбасу, которую затем скармливал дворовым собакам. По вечерам он засыпал под юмористические передачи — совсем смешные, но такие убаюкивающие, теплые, молочно-